

**Сергей Катуков**

**КОРРЕКТОР ОПЕЧАТКИ**

1

По дну снова громынуло, и Николай, очнувшись, переместил взгляд из будущего вниз, туда, где в мутноватой воде ведра водились золотистые, солнечные проблески карасей. Штанина, закатанная чуть выше голени, навязчиво пережимала бедро. Николай потерялся коленями и присел на тихую отмель с бархатным песком, боочиной шелковистого бархана лежавшей рядом с берегом, словно дно перевернутого баркаса. В будущем, на которое до этого смотрел Николай, небо, исполосованное перистыми облаками, принимало в себя вечер и располагалось за далеким мостом, шагавшим через реку длинными арочными пролетами.

«Акведук», сказал про себя Николай и подумал, что все равно ничего не сможет отсюда взять, положил ведро на бок, из него тотчас выплыли медленные медовые караси, а последний, поскоблывая чешуей по оголенной жести, не мог развернуться и плоско попрыгивал в обмелевшей посудине. Николай перевернул ведро, раскатал штанину и вышел из редакционной комнаты.

Он стоял на лестнице и дрожащими руками пытался справиться с зажигалкой. На колесико и кремний попал пот, и теперь оно вхолостую потрескивало под пальцем. Полчаса назад вот так же, неумело и оглядываясь по сторонам, он пытался завести заглохший посреди реки мотор. Каждый раз Николай переживал тот же самый ужас и счастье происходившего с ним погружения в работу. Сначала он подбирает лишние знаки, делит их поровну, разводит в стороны ветки и втыкает клыкастую запяную в черную, горячую землю, только что развороченную инверсионным громом самолета, лента его следа расправляется, и руки, нащупывая сначала ватные, а потом рифленые веревочные ступеньки, помогают взобраться наверх, и вот он уже внутри текста, осматривается, приседает, чтобы бодро, настороженно почувствовать, где он оказался и в какую сторону только что прошла гроза.

Нет, повествование никогда не соответствовало тому, что происходило вокруг. Даже наоборот, речь могла идти о завоевательной кампании в Индии, Соловках времен ГУЛАГА или пацанской разборке во дворе, имело значение только, как себя поведет слово, с какой частотой придут волны ритма, колыхание стилистической жидкости, по плотности которой можно определить, будет ли это осенний пустой распадок, где он бредет уже гораздо дольше, чем читает, или детская комната на сто первом этаже: за дверью слышна музыка и голоса гостей, а в окно просится чикагский прокуренный дождь.

Нет, это было бы банально и пошло, если бы слова были непосредственно тем же самым, о чем они вели речь. Николай объяснял для себя это несовпадение тем, что когда вы, например, пьете водку, разве сам алкоголь производит эти взрывы фантазии? Это ваш мозг

на химическом уровне разыгрывает представление. Или вот музыка. Разве вы придаете смысл каждой ноте? А тем временем они образуют поток, который уносит вас в страны, где вы никогда не были и никогда, вероятно, не будете и без нот не придумали бы их. Но разве это все находится в нотах?

Поэтому Николай разделял происходящее на то, что бывает «текст» и бывает «поток». Но и последний — тоже разной глубины. Однако ты сразу понимаешь, в «потоке» ты или в «тексте». Хотя Николай не стеснялся этого продажного слова — «текст», оказавшись перед которым надо сначала испытать его, чтобы он сам доказал, что он такое. «Текст» можно разбирать; в лучшем случае, все его части отлично прищелкиваются. В «поток» погружало.

От зажигалки Николай так и не дождался огня и вернулся на рабочее место.

Но еще прежде, до того, как он посмотрел туда, в будущее, где такого закатного цвета облака, словно заварочная пена, накрывали горячий настой невидимых отсюда ароматных полей — что это было? Пристальный взгляд, сколько ни вертись, знающий тебя заранее и поэтому убегающий в области, тебе неподвластные, куда ты никогда не помотришь, — в твой затылок. И на языке пошлый холодок, вкус белизны и пустоты...

Материалом для правки, который вызвал сегодня речное переживание, оказалась статья про палеоантропологическое исследование в Восточной Африке. Сам верхний уровень, ту каменистую поступь слов Николай через пять минут почти не помнил — еще чуть-чуть и память испарится, — зато останется: мост, будущее в виде заката, угрюмый плес и последний карась толчками бьется в жестяное дно. Корректор Николай Опечаткин — словно профессиональная машинистка, разделившая биение букв бытия на солнечные фантазии и текст, который она не то что не помнит, хотя только что набирала его, но на самом деле даже не знает, никогда его не слышала.

## 2

Одноклассники дразнили Опечаткина антиорфографической фамилией, даже учителя, к своему удивлению и его ужасу, находили повод, чтобы не вовремя для него исподтишка поддеть, едва есть возможность. Молоденькая, словно раскосый глаз лисицы, русичка, только что выпущенная из педа, зачитывала на весь класс странности из его сочинения, и, подойдя ближе, присаживалась в облегающей сзади юбке, и теплым голосом оправдывалась:

— Коля, у тебя даже фамилия такая — классенькая: Очепяткин. Оче-пяткин: очи и пятки.

Естественно, к шестому классу у него появилось микроскопическое видение слова, началась гиперкоррекция всякого высказывания, теперь он штудировал словари, заучивая перед сном по странице, чтобы на следующий день со снайперской точностью парировать

любому. Даже с задней парты, с расстояния в двадцать шагов, точно охотник за пушниной — в беличий глаз, бил без промаха в десяточку учительского зрачка:

— Не в бровь, а в глаз, Марьяванна, — пояснял он русичке свой ответный выпад.

У него были математические способности, но к завершению школы он зашел уже слишком далеко, и лингвистическому Робин Гуду, готовившему месть целому миру, было не до них. Опечаткин решил стать корректором.

Большинство из того, что попадало на корректуру, было сухим, неживым материалом. Очень редко встречались хорошие, «неслыханные», как он называл, вещи. Само слово «неслыханный» выглядело как белоснежный яблоневоый цвет: распустившаяся чашечка цветка, поддерживаемая теплым воротничком листка, а внутри нее — нежная, как женское веко, начинка лепестков.

Он сразу чувствовал хорошие стихи, уяснив для себя, что в настоящей поэзии должно быть приключение, жюль-верновские замашки осуществить кругосветку и подвиг во имя всего, будь это любовный жанр, в котором путешествие совершается внутри влюбленного сердца, или гражданский поединок «против мнений света».

В любой текст он проникал, как крот, влезавший в свое невидимое королевство в наугад взятом месте сада, которым для него теперь был любого вида дискурс, — необязательно в начале, с разрытых краев: умел находить краеугольный камень, отковыривая его, обрушивал все здание и по-бульдозерски перепахивал статью, библиографию, роман.

В свой первый *опыт* он впал не сразу, хотя что-то такое к нему прикоснулось, но он, огрубев от своей автослесарской должности откидывать капоты, разбирать и исправлять механику текста, в тот раз оборвал синтаксически длинную мысль, которую вела швейная машинка авторских стили и пунктуации, и ушел пить кофе. Закончил он чтение под утро, уже дома, дрожа озябшей поясницей и спиной, по которой волокнисто подрагивали мышцы.

Была розовая акварель высоты, воздушная Венеция, и он почтальоном на велосипеде инспектировал многоярусный, многоэтажный город, островами плававший над рогаликом морского залива. Здесь было много высот, много городских уровней, среди которых раскачивались сады, колониальная архитектура Южной Америки, шесты воздушных причалов — к ним крепились летающие корабли. Тут были тихий уровень, и ветреный уровень, и уровень сыпучих облаков. И он с мольбертом и красками взбирался на подножье заброшенной библиотеки, возле исхода лестницы в небо, сопровождаемой статуями афинских академиков, и рисовал, рисовал с рассвета до полуночи, когда над городом будет изнутри зажжена летающая инсталляция из бумажных фонарей. Он рисовал женский силуэт, который преследовал его взгляд от одного края города до другого, море, ползущее внизу в прилив и отлив, и как приходят в город поезда на многопоточный железнодорожный

терминал с тысячью направлений и выполненный в виде космических куполов венецианского фаянсового Сан-Марко. Он жил там уже тысячи лет, до этого моря, до города, до самого себя.

То было длинное, сложное, со многими главами и параграфами, толщиной в том задание на выполнение научно-исследовательской работы.

Впрочем, все это было зря: корпение, крепеж зубрежки; словари, справочники, синтаксическая тоска. Сократовский демон все равно улыбался у него внутри: он был испорчен только на время, а потом его вернули к простоте, которую иронично называют «врожденная грамотность». Когда он с разбегу ныряет в бассейн строк, чтение не охватывает его сразу — его облекает замедленный воздушный пузырь: строки остановились и ленточно покачиваются, из небесного кузова их выгрузили в океан желе. Пятки у него на воздушной подушке, он идет мимо и наводит порядок, расставляет вещи по местам, пока не почувствует пресыщения, нужной умеренности в обстановке и простодушной симметрии, которая на самом деле не симметрия, а как будто заранее задуманный узор, испорченный только для виду, будто его испытывают, экзаменуют и ему надо только устранить разночтение.

### 3

В одиннадцатом Николай попал на Сахарова. Сквозь толпу блуждали беспризорные абзацы, сороконожками перемещались по площади. Коля пробовал примкнуть к ним, получался инородный второстепенный член, с неопознанным типом связи. Подобная ему писчая канцелярия отсеивалась горсткой одиноких многоточий — образ, преследовавший его во время собственного одиночества. Было зимнее ярмарочное веселье, раздавали листовки; воспроизведенные на туалетной бумаге мягкие госдеповские банкноты щедро отматывали из рулона; раздавали фрагменты той самой белой пустоты, от которой у него холодел и онемевал язык: круглые значки, белые ленты шириной с книжные поля — готовый отрез для записи маргиналий. На далекой сцене невидимый голос менял маски, переодетый в разные обличья. Выходило не очень правдоподобно, как в спектакле: из-за ширмы выскакивает актер, после него другой, а, может, на самом деле тот же самый, но за кулисами ему подтягивали или ослабляли голосовые связки, подкручивали пружинку механизма, чтобы он энергично двигался, аффективно кричал и угрожал кому-то невидимому — другому голосу, который молчаливо нависал над всей площадью.

Выступал Каспаров. Далеко не по-шахматному, эмоционально и, Николаю показалось, спекулятивно. Выступал Удальцов. Выступали другие. Навальный тщетно пытался разогреть толпу и звал идти «разобрать Кремль по кирпичику», народ, смеясь, отвечал на это: «Не-е-е-ет», — как будто вступал в детскую драматургию, где на вопрос

правого полухора: «Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите?» — левый полухор должен был ответить: «Да-да-да!» — а вместо этого отвечал: «Да ну что вы! Нет-нет-нет!»

На сцене показывали Собчак, выскочившую с минимумом макияжа в амплу девочки-революционерки, на которую из толпы посыпалось прозвище «племяшка». Выступление Кудрина вызвало недоумение — с момента появления до ухода: с толпой надо говорить по-другому: короткими народными словами и выражениями, а не так, как будто даешь интервью. А он и здесь давал интервью — тихо и корректно.

«Почему они, как нянечки в детсаде: уговаривают съесть кашку? Почему обращаются так терпеливо, заигрывающе, как с детьми? Почему не заговорят по-взрослому? Почему без спроса не берут за шкуру, не наглеют наглостью власть имущих?» — думал Николай.

В общем, как на все это смотрел Николай и по его отстраненному мнению, в которое он поместился, как в привычный корректорский пузырь, все это выглядело неважно и неубедительно. Не было генеральной линии, железных кавычек, которые схватили бы разностилевые вырезки — абзацы, периоды, блуждающие строки, ходячие цитаты — и впяли бы их в единое высказывание, утрамбованный текст, отбросивший все лишнее, закованный в «железный поток». Здесь не было потока, не было ствола. Была, как он знал по одной откорректированной книжке, «ризом», испещривший пространство плющ, с непонятной «номадистикой», расползающейся гульбищем.

Стотысячная толпа не стала единым текстом, который мог бы достичь слуха Великого Чтеца. Масштабом со Время. Корректировать Историю может только сама История. Время — только само Время. А здесь не было ни масштаба, ни Истории, ни Времени. Так думал Опечаткин.

Когда он шел к метро мимо обмерзшего строя солдатиков, оцепивших расходившуюся толпу, и затем уже дома, плывя далеко за полночь сквозь ночные зимние часы, то думал о самом насущном: «Что же такое настоящий поэт?»

И все тот же прицельный взгляд в холку подтверждал его правоту, мягко уговаривал: это правильно, это хорошо.

«Настоящий поэт должен быть диктатором. Трагически, жертвенно подчиняет себя ритму, правилам, грамматике, которые не дано знать непосвященному. Он предельно, бесчувственно внимательно следит за жесткой структурой стиха, за выполнением ритма. Он презрителен к блажи, минималистичен к себе. И только в этом случае, после того как остынет гнев и катаклизм поэзии, только тогда сквозь золу проступит ”из пламя и света рожденное слово”».

Поэзия перестала быть приключением, заявила себя как долг и организация материи.

Он вживался в роль корректора, и Великий Корректор инжектировал в него свои стальные нервы.

Тем временем случилась Болотная, «народные гуляния» и Оккупай. Характер событий подтверждал корректорское мнение обо всей «этой номадистике». Он сам видел, как начиналось движение на Чистых: омовцы с оловянными глазами выхватывали из рассеянной толпы наиболее самостоятельные восклицательные и вопросительные знаки — того, кто казался им заводилой, вели под руки в автозак, а те шли весело, улыбались на камеру, а потом красиво чекинились в отделениях.

4

В очередной «несезон», когда издательство переключилось на детскую литературу, подсократив штат, он на своем корректорском коньке-горбунке отправился в рыцарское путешествие, проникая орфографическим копьем в палый сумрак варварских королевств и хладнокровно выполняя наемную работу.

Кафедраальный сборник статей по биологии курировала энергичная аспирантка с упитанными щеками, как будто за каждой из них прятался пирожок, и хилым телом, которое ходило в рабах у прожорливого и говорливого мозга: до него не добирались калории и хозяйское внимание. Целый месяц Николай знал ее по электронному имени-отчеству, величал на «Вы», пока «уважаемая Вера Павловна» не настояла встретиться и уточнить некоторые моменты.

— Ну что, как поживаете, мистер Бартон Финк? — сказала Вера Павловна.

Молодой человек на скамейке, дожидавшийся встречи, недоверчивым лицом и очками был похож скорее на Шостаковича, но Вера Павловна со своей расхлябанной образностью накидывала недавние кинопечатления на всех подряд: это она была похожа на непутевого сценариста.

Не было речи о родстве душ, когда два поля, соприкоснувшись, заряжаются друг от друга общими частицами, скорее это было больше родством пути, сходством судеб: жизненные вехи и стимулы, которые раздавала им судьба, протравливались в свежем пергаменте одного поколения одинаковым почерком при полной очевидности, что рукописи развивались в противоположные стороны. И в какой-то момент одна линия нависла над другой. Он виделся ей рыцарем-одиночкой с пером наперевес, восстанавливающим занудную грамматическую справедливость, без формальных признаков которой сборнику не обойтись. А она ему — героической хаврошечкой среди уродливых кафедраальных теток: одно-, трех- и четырехглазых ботаничек.

Через неделю они вместе ходили на спектакли и концерты. Он подарил ей желтые бархатные цветы, синие перчатки, серебряный кулон в форме закрученной лесенки ДНК («Но я же не генетик, невыносимое ты создание!») и сонник — толковать вещие сны Веры

Павловны, которых у нее и в помине не было. И тогда в ее теле, наконец, произошли приятные изменения, наполнившие фигуру целью высказывания, интонацией, на него сместился акцент и ударение с похудевших щек, между которыми приючивался короткий дефис рта.

Через полгода во время майского ливня, когда влажную комнату разрывали раскаты ночной грозы, он рассказал ей про поэтов-диктаторов, властвовавших на индонезийских островах во времена сразу за тем, как великое переселение народов перехлестнуло за пределы материка и голубоглазые наследники античности бежали в островные полуджунгли. Раз в десять лет там выбирали царя, и покуситься на действующего диктатора могли только самые отчаянные и талантливые головорезы: в исходе поэтического состязания всех ждала казнь и только одного — корона. Битва подразумевала подготовленное задание: великолепная поэма на свободную тему без рифмы, большое стихотворение о смысле сущего в рифме. И если смельчак побеждал конкурентов, то в последней битве сражался с «королем поэтов»: за одну ночь под звездным пологом, в виду бессонного дыхания смерти, он составлял идеальное трехстишие о том, как и что сделал бы в королевстве, заняв трон. Смертельные чтения длились три дня.

«И это не легенда, — говорил Николай посреди барханов постели. Вера Павловна и Николай лежали головами друг к другу, а ногами в разные стороны комнаты. Словно ключи, нанизанные на кольцо совместности. — И не предание. Это философия и политика».

— Я уверен: все истинные поэты — латентные диктаторы. Они либо признают, либо отказываются от трона.

— А я не могу представить Пушкина или Есенина с диктаторской повязкой и усиками. Хотя Маяковского даже очень. По-моему, это графоманы, которые с превеликим трудом куют звенья рифм, вполне годятся на роль диктатора. Выжившие и признанные графоманы, которые доказали свою поэтическую состоятельность вопреки критике и травле, вполне годятся для диктаторского трона, а настоящему поэту лирика дается легко, как это и должно быть.

— Нет. Поэт подчинен. И сам подчиняет. Это нелегко понять. Но поняв, по-другому уже не сможешь увидеть.

## 5

Карьера Николая скоро пошла на поправку. В небольшом издательстве, в которое он устроился с началом семейной жизни, уже заметили, что он дает безукоризненно точные рекомендации о том, какой текст будет успешен. Его прозвали «второй после Розенталя» и назначили замом главреда. Благодаря поразительным прозрениям, которые он осуществил за рекордные пару лет, взлелеяв несколько неизвестных авторов, а одного известного подсадив

до ступеньки платиновой литературной суперзвезды, Опечаткин, чья фамилия получила культовый статус, добился, чтобы за его родное издательство стали спорить крупные холдинги, перед решающим выбором из которых он вышел в астрал, где держал совет со своими книжными богами, кивавшими в сторону, откуда сулили кресло главреда подразделения издательского конгломерата, возможностью лично управлять политикой издательского импринта, а также персональной красной дорожкой в совет директоров холдинга. И он на это подписался, и лучше выдумать не мог.

Генеральная деятельность очень молодого для своей должности Опечаткина, выполнение им организационных, координирующих движений, похожих на шаманство, колдовство беззвучного дирижерства, пассы, элегантные па, перелистывание масок перед директоратом и посольствами — все это оттеснило его от тела текста, которое продолжало двигаться за окном в историческом масштабе современности. Конечно, он был в курсе всех главных публикаций издательства, но далеко не все обладали волшебством погружения, впрочем, как и во времена корректорства. Новости книжного рынка, часто смежные слухам, оповещали, что некоторые из книг, отвергнутые им в прошлом, еще в корректорскую эпоху, выходили в других издательствах и были успешны. Но он честно отвечал себе, что не испытал в них *опыта*, что это не его тексты, в них отсутствовал «священный омфал», «точка монтирования», магнитившая вокруг себя весь материал и удерживавшая внимание во время бешеного вращения центрифуги слов.

В укромной лунке жизни, где было удобное кресло с высокой спинкой, возле абажура, он собирал коллекцию *опытов*. Классика, книги эпохи корректорства, замовства, давно и недавно изданное, документалистика, технические рукописи, которых было не так мало, написанные намного лучше большинства хваленых лауреатов и бестселлеров. Он путешествовал между ними, переходил через царства, опережая реальность на неопределимо сколько шагов. Но новых *опытов* уже давно не было.

«Белый холодок» на губах внутри *опытов* сопутствовал взгляду в затылок или в уголок глаза. И Опечаткин придумал этому снисходительное объяснение: на самом деле это ты сам из своего будущего вспоминаешь именно этот момент жизни, и таким образом происходит соединение времен, звенья мгновенных состояний защелкиваются в цепь целостной личности.

Рукопись, которую принесли несколько недель назад, которую перемещали из одного отдела в другой, отвергнутая и вновь принятая, и снова подвергшаяся недоверию — он сам перекладывал ее в разные места квартиры. И когда отпуск подходил к концу, а Опечаткин по утрам еще крутил педали вокруг Женевского озера, она лежала у него в номере на кровати, посетив до этого десятки мест и теперь решительно добралась до него. И он, глянув на нее в



упор, обещал покончить с ней сегодня же. После прогулки сел в уличном кафе, заказал глясе, посмотрел на безоблачное небо слева от панамы тента и перелистнул сразу три страницы.

Он всегда поступал по «корректорскому принципу»: просто есть правила, по которым либо правильно, либо это просто ошибка. Он есть безучастный шаблон для исправления, механический трафарет закона. Ошибку следует удалить.

6

Прорвавшись через палимпсесты деепричастий, Николай бежал среди усталых, грязных, раненых, окровавленных людей. Запах гари вьелся в его оборванную одежду, волосы, пропитал кожу, запекся в кровавых рубцах, доносился слепыми раскатами с обмелевшего разлива вчерашних небес. И это был запах битвы и поражения; и так пах ужас. Сзади догорал закат мира: извержение вулкана, восстание рабов, вторжение варваров, солнечное затмение и сумерки олимпийских богов. Изможденная, чадающая страхом и тупым, кровавым запахом толпа остановилась перед рекой. Здесь был короткий привал, для кого-то последний: треть рассеянных по голому каменистому берегу людей, остановившись, уже не могла подняться и осталась умирать. Остальные перешли вброд мертвую ночную воду и потянулись в горы. Рассыпанная по разлому долины толпа, словно кровавая рана, шла вверх и вверх, никто не останавливался надолго, не разводил огня, не разговаривал, не помогал другому. Не оглядывался. Спина каждого чувствовала приближение погони и помнила тяжелый, обжигающий удар катастрофы.

Черные, измазанные пеплом лица отворачивались друг от друга, во взглядах застыло одиночество и ужас растерянности.

Он должен был помочь, потому что единственный мог это сделать. Он остановился, сзади на него наткнулась грубая, тяжелая ладонь и ударом в плечо убрала с пути. Он ровно, глубоко вздохнул, развернулся и посмотрел на угрюмых, бредущих на него людей. Толпа расступалась и, опустив глаза, обходила торчащую человеческую оглоблю. Все они были слишком заняты внутренним ужасом.

Он увидел человека с изувеченной ногой, отталкивавшегося палкой и здоровой ногой, чтобы идти, взял его под руку и потянул за собой. Надо подняться чуть вбок от широкой ложбины, чтобы оказаться под стеной скалы. Кажется, там должно быть удобное и уютное место, закрытое от ветра. Укромное. Они добрались и припали спинами к камню. Отдышались. Человек с благодарностью посмотрел ему в лицо, но не смог улыбнуться. Заискивающе виляя хвостом, прилудила собака. Спина и одно ухо чернели подпалиной. Она посмотрела на них и прилегла возле ног.

— Нам надо продержаться эту ночь, — сказал Николай. — Завтра мы дойдем до побережья. Там ждут корабли.

— Люди... — сказал, задыхаясь, человек. — Они могли бы к нам прийти... разве они не знают о нас?

— Они сами боятся и готовы в любой момент отплыть.

Собака насторожилась и, шатаясь от усталости, встала, глядя вниз. На дне долины, за рекой появились всадники. Они настигали оставшихся там и добивали их. Слабые крики едва доносились сюда.

— Надо спрятаться, — сказал Николай. — Это единственный шанс.

Они перебрались на другую сторону скалы. За ней открывалась небольшая площадка: можно пройти дальше, обогнуть горы и спуститься к морю. Из толпы их заметили, и скоро присоединилась целая группа, разгадав спасительный замысел. Собака суежилась под ногами, боясь пробежать вперед. Ее отогнали, чтобы она не навела на людей всадников: глухо прикрикнули, кто-то бросил камень. Она, опустив голову, устало потрусилась туда, куда шла толпа — в ущелье. Всадники форсировали реку, и их силуэты уже чернели по эту сторону реки.

«Вот как было на самом деле, — думал Николай. — Опаленные троянским огнем, жители бежали от ахейцев через горы, чтобы найти спасение в лесах и приречных долинах. Корабли давно отплыли. Никто не ждал этих людей. Спасти можно только малыми группами. Все внимание оттянет на себя большая, обгоревшая толпа, которую искромсают всадники».

Как только небольшая горстка людей отошла на безопасное расстояние, из-за скалы, от которой они повернули, появился огонь. Это всадники. Огонь погас, и в вопиющей темноте безжалостными эриниями во все стороны понеслись стрелы. Они настигали, впивались в беспомощную плоть, выдергивали в пропасть. Терзали тех, кто еще сопротивлялся, обгладывали, дожирали и, хватая когтями, уносили в ночь. Многие, кто пошел по этой тропе, погибли. И все же было еще немало живых, едва укушенных ядовитыми резцами эриний. И они продолжали идти, и Николай помогал им подниматься, возвращался, ставил на ноги, сводил вместе двух-трех одноногих и вел дальше, подбадривая, похлопывая по спинам, плечам. Они уже далеко ушли от скалы, не заметив, как тихо, крадучись, подъезжал всадник. Он держал меч наготове, дожидаясь, пока горстка покалеченных выйдет на широкое место, чтобы там, разъезжая между ними, разрубить потертые нити их жизней. Кто-то его заметил, и тогда всадник напал. Николай схватил камень, бросил ему в грудь, но попал в голову коня, тот зашатался и, заплетаясь ногами, стал падать. Все, кто могли, схватились за камни, и через минуту разбитое, разломанное тело человекоконя лежало, перегораживая узкую тропинку над пропастью. Николай, последний раз обернувшись, увидел мерцающий над бездной в капле слезы глаз умирающего коня. Он словно отдельная, выступающая из всей неразборчивой туши деталь.

Когда они только стали спускаться, рассвет пришел по эту сторону перевала. И, не смея глядеть людям в глаза, все-таки давал им надежду: далеко-далеко, зажатое горами, приобнятое заливом и растушеванное в брезжущем небе, слабо светилось море. Кто-то тихо, сухо воскликнул. Безголосо. Только сейчас Николай подумал, что такого с ним еще не было: чтобы внутри *опыта* он вступил в контакт с людьми, шел и страдал внутри вымышленного мира, жил так, как никогда не жил наяву. По ту сторону текста. Он почувствовал головокружительный, радостный, горячий напор жизни и счастья: он выжил сам и спас других. Звук повторился. Руки, поднятые человеком, опали. Это был не восклик. Это был клик, всхлип ужаса. Спуск долины усеяла окровавленная, избитая, полностью изничтоженная толпа. Люди, разметанные, раздробленные, разбросанные, расчлененные, спали смертельным сном. Тени эриний носились над ними.

К ноге Николая допрыгала хромая собака. Посмотрела в глаза. Завиляла переломленным хвостом.

Пошел слабый дождь. Так море звало их к себе.

Лес, казавшийся с высоты негустым, полупрозрачным подлеском, обратился в непроходимые джунгли, разрезанные оврагами и начиненные желтой влажной духотой. Горстка людей, еще шедшая, рассыпалась и валилась к земле, и было непонятно, как они еще жили и двигались: с обрубком конечности, мотавшейся в перекрученном рукаве, с неживой нижней частью тела, которая волочилась за руками, обхваченными вокруг чужой шеи; разрубленные на геометрические части и резанные пополам; шаткая, истонченная до опалубка скелета фигура с раскроенным черепом и скошенным глазом. Николай замер, потерял дыхание, ужаснулся.

Они шли и шли, и навстречу им потянулись разрушенные лесом и ветром лачуги, согнанные в поселок, завернутый в паутины рыбацких сетей. За их лохмотьями дождь пошел сильнее, сквозь ливень завиднелись бараки — то ли лагерь беженцев, то ли военнопленных. Все, о ком помнит и знает миф, давно подняли паруса, исчезли за горизонтом, направились в сицилийские и черноморские чертоги основывать Рим, закладывать новые цивилизации, а эти люди, беженцы, брошены здесь навсегда на погибель и вымирание.

За его спиной остатки людей окаменевали, превращались в статуи с отломанными руками, отбитыми носами, в поваленные одноногие, безногие мраморные обрубки. И с самого начала, подумал он, они с самого начала и были такими: черепками, еле подрагивающими артефактами.

К его ногам снова притерся ослабевший пес. Вода хлестала на него сверху и снизу, из грязных, известковых луж, куда он через шаг проваливался. Николай взял его на руки — дрожащие лапы свисают, — и так пошел — через жуткую улицу между обваленными, призрачными домами.

С одной стороны жались группками: мужчины в пухлых куртках и шортах, в трениках, дешевых пестрых футболках, в кедах на босу ногу — небритые, невыспавшиеся; женщины — в платках, со спутанными, сухими волосами, лицами без косметики, в глухих кофтах и балахонах в пол; дети — в засаленных рубашках, тонконогие, с фиолетовыми кругами под глазами, другие — любопытные, навязчивые, раздраженно, психованно бегающие в толпе. Они стояли на углу барака, спиной к нему, перед тем, что окружили: на треть зарывшись в песок, лежал погибший сирийский мальчик на берегу огромной лужи. Микенцы-полицейские оттесняли молчаливую, напирющую толпу, нависшую над пестрой детской майкой и штанишками. Раздались автоматные выстрелы, и группа кучерявых, темноволосых подростков бежала за светловолосой девушкой, задыхавшейся, падавшей. Один снимал преследование на смартфон, другой, разорвав на ней блузку, делал селфи. Подбежавшие стали зажимать ей рот, прижимать растопыренные, напряженные ладони к земле и по очереди делать селфи на фоне ее заплаканного, красного, синеглазого лица.

С другой стороны улицы за колючей проволокой гряда человеческой стены — лица, лица, страшные глаза, металлические занозы, впившиеся в ладони, голые грязные ноги, оборванные полосатые робы, смертельная худоба — спрессованная, раскатанная на целую милю увеличенная черно-белая фотография концлагеря, которую с одного края, упираясь в землю, поддерживают своими телами надзиратели, вертухай с собаками, с другого — на фотографию наезжает бульдозер и кладет щиты с фотографиями лиц в землю. И сквозь ливень слепит до бесцветности яркий прожектор с вышки. Немецкая речь, ломаясь, треща радиопомехами, переходит в автоматную очередь, захлебывающийся лай овчарок. Мелькают огни трассирующих пуль, красные нити лазерных пушек, пересекая которые, падают, сгорая, подкошенные, обезглавленные киборги. Под металлической ступней робота лопается человеческий череп. С кипением воздуха барражирует поисковый катер скайнета. Вспышки огня гасят день, на месте ковровой бомбардировки, вспухая, гонят взрывные волны ядерные грибки размером с деревья. Через мгновение видение концлагеря и лагеря беженцев краснеет, дергается, вспучивается, как химическая слюна горячей фото пленки, из багряных, фиолетовых клубов вырываются стада зверей, рассыпаются сквозь ядерные джунгли; фаланги македонского войска ложатся под перекрестным огнем автоматчиков вермахта; олимпийские боги прыщут перунами в корабли инопланетных захватчиков; наперегонки мчатся колесницы, спортивные болиды, длинноногие андрониды; египетские жрецы перед каменным алтарем пытаются искусственный интеллект о будущем урожае; неандерталец с пучком травы подходит к обрыву и, не понимая ничего, наблюдает изумительную панораму опустошенных материков; пригибаясь под сиреновой метелью ядерной зимы, бредет стайка людей — спастись от радиации в бункере из бабушкиных легенд — Большом андронном коллайдере.

«Крабы, рыбы, чайки, совы, мыши, змеи, рыси, волки — все придут ко мне, — как заклинание, произносит женский киберголос радиационной тревоги. — Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды...»

Николай бежит через огонь, придерживая голову псины рукой, бежит сквозь ужас, сквозь книгу джунглей, наравне с говорящими львами и птицами, на микроскопические головки которых пристегнуты шлемы с речевым синтезатором. Пронесется реактивные самолеты, внутри них в авиаторских очках за штурвалом лабораторные крысы. Все это ядерное марево несется мимо горящих городов, разверзшихся кальдер, в босхианском пламени которых присели покурить покинутые падшие ангелы: греют тонкие ледяные лапки, вялят тушки саламандр, обжаривают трансформаторные провода, накаляют наконечники боеголовок. В небесах над ними тлеют разбитые планеты, погибшие звезды.

«Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну, — продолжает женский киберголос. — Общая мировая душа — это я... я... Воду, воздух, камни, травы, соки, пламя, снег и сосны поднесут мне».

Николай понял, что он и есть та самая «общая мировая душа». Когда никого не останется, сознавать все это, видеть внутренним взглядом, немигающих глаз которого не отвести от того, что осталось от мира, — вот на что он обречен. Вот они, новые танталовы летейские муки. Фантазмагорический ландшафт Елисейских полей. Вот они какие на самом деле. Моя душа — Элизиум теней...

Он бежит, его нагоняет мотоциклетка, он оборачивается, из ее лодочки привстает фриц с обвязанной шарфом головой, выпускает ему в грудь толчки пулеметной очереди. Пули разрывают собаку, секут его лицо, жужжа, уносятся вверх. И он бежит под жестоким ледяным голодным ливнем. Сутки, двое, еще ночь, пока не падает на колени, обессиленный, с клочками шкуры в руках. Перед ним бетонная стена — длиной во весь горизонт, уходящая в небесную пустоту.

Шеренга надвигается. Они чеканят шаг под июльским полднем, взбивают лакированным сапогом степную пыль. Потрявоженный неровностью ландшафта строй останавливается, раздается команда, строй замирает, целится. Оглушительный выстрел. Штыковая атака. Пули, штыки вонзаются в него, строй проходит через него и дальше сквозь белую, безликую, бесконечную стену. Он падает, он лежит, истекая кровью, и смотрит в древнегреческое небо.

«Здесь буду лежать и я... здесь буду лежать и я», — повторяет герой книги.

Веры Павловны не было дома. Ее не было нигде. Вернувшись из отпуска потрясенным, Николай не замечал этого два дня. Опустив чемодан на пол пустой квартиры, он поехал к старому другу, он поехал на получужой банкет, попал на дачный корпоратив знакомого издателя, очнулся перед зеркалом в туалете: лицо и глаза, за спиной музыка и пьяный смех. Добрался, ковыляя по сугробам, до трассы, поймал машину, и полночи его возвращали в далекий город, из которого он продолжал бежать, словно из подсознания.

На вопрос «Ну что, берем?» — он впал в ступор: армия всадников и мотоциклетов, уходящая в бетонную стену, двигалась за окном. Он пришел в себя через пять минут, неопределенно махнул кистью ладони. Зама рядом не было. «Пусть придет автор. Надо поговорить», — ответил он паллиативом, выглянув из-за двери.

«Чувство белого», этот «сопутствующий газ» внутри *опыта*, вышел теперь в сконцентрированном виде. Опечаткин понял, что означает это *белое*. Эта безликая белая стена в огромном и прекрасном тексте — забетонированная пустота, которую он пытался обойти в одну и другую сторону. Она въедалась в пространство, выедала его котлованом, заполненным антиматерией, которую невозможно пробить. Это то, что он никогда не сможет понять. Может быть, нечто совершенное. Нечто настолько свободное, вне его корректорского мышления, что он не способен это даже помыслить. Это был вызов, отрицание его правил.

Автор, похожий на длинноволосого Чехова, с элегическими длинными пальцами и колючим взглядом, который он никогда не направлял на слушателя: боялся им впитаться, и потом его трудно выдергивать из собеседника — обязательно останется рана с сукровицей. Опечаткин разговаривал в основном с его профилем.

— Но вот вы там пишете... эта сцена с избиением младенцев.

— Да... ну и что...

— Чернокожие младенцы... политкорректность...

— Откуда вы знаете, что там было? Вы же там не были. Ничего не видели.

Опечаткин порывался ответить, вскочить, раскрыться: был, был и еще как видел! Вы сотворили прекрасное, аннигиляционное чудовище!

— Предание ничего не говорит о цвете кожи младенцев, которых изничтожил Ирод. Значит, я могу домыслить, исходя из художественной задачи. Мы играем не с фактом, а наравне: вымысел с вымыслом. В литературе возможно все! Вообще!

— Но это беззаконие!

Да, Опечаткин имел в виду свой жестокий фантазм, свой *опыт*, автор же говорил о непосредственном содержании книги: о сюжете, о героях — он вообще был не в курсе того, что испытал корректор.

— Да. Беззаконие. Ну и что. Это свобода. Пусть заглавным будет эстетический импульс, который организует вокруг себя материю.

— Значит, вы говорите, язык — это закон, а литература — использование его, закона, в своих целях, как средство, возможно, даже не по назначению? Это материя и антиматерия!

— Видимо, да... — отвечает автор беспечно. — Но они стоят друг к другу спиной. Так и держатся.

— Но эта стена...

— Какая стена?

— Ну, белая...

— А, пустая страница?..

Опечаткин не заметил, что он, раскрасневшийся, стоит перед автором и, перевесившись через стол, показывает место рукописи, где в нее вставлен полностью чистый лист. Тот самый пробел, котлован пустоты, в который он уперся перед расстрелом.

— Вы должны ее убрать.

— Попробуйте. Все рассыплется.

Опечаткин остыл.

Под этим предлогом и не взяли: автор слишком несговорчив.

Белый, пробельный лист до небес во все стороны — непроходимая стена между Опечаткиным и свободой, творчеством.

Да, был «поток», у книги должен быть успех. Но Опечаткин служит Великому Корректору, а этот текст — сосредоточение того самого ничто, которое Корректору не может понравиться. Он и сейчас смотрит ему в холку. Есть правила, есть ошибка. Корректор оперирует правилами, ошибки он устраняет. Поэзия — чистый язык Великого Корректора, диктаторский, безупречно справедливый. Но последний случай показал, что поэзия и проза проистекают совершенно из разных источников. С первой все ясно. А проза... она от древнего, получеловеческого еще инстинкта предвидеть, перебирать множество комбинаций всевозможного будущего. Если раньше Опечаткин думал, что писатель в пределе, в идеале — великий стратег, то теперь разоблачил в нем садиста, психолога горького опыта. Чтобы познать героя, писатель раздевает его, сажает оголенного, связанного под ледяной душой, избивает, изувечивает — и наблюдает, изучает. Ощупывает глазом. Опечаткин не мог это принять. Это было его великим откровением, великим *опытом* и болезненным прозрением. Он отказывался принимать такую литературу за средство упорядочивания мира, он отвергал Литературу ради Языка.

Который есть все.

Вера Павловна не провожала его перед отъездом, как бывало раньше. Отклоняла предложения ехать вместе. Ссылалась на плотный лекционный график. Конференцию. «Кураторские погоны», как она шутила.

В их интимный микромир редко проскальзывали сквозняки *опытов* Опечаткина, рассказов об этих корректорских снах наяву. О том, что он сам когда-нибудь напишет книгу, даже две, потому что в ней будет второе дно. Книга реальная и книга невидимая. Ведь он досконально знает весь фокус, секрет, который скрыт даже от авторов: снаружи это легкая, изящная, легконогая баллада о нашей жизни, о быте и мечтах, о времени, взрослении, опыте и невозможности противостоять возрасту. Классический роман. А на поверку — тщательный психоанализ, во много подходов апробированный *опытами*.

Вера Павловна бывала недовольна им:

— Ты собственное мнение подменяешь мнением и практикой корректора. О чем ты говоришь? В книге должна быть свобода. А у тебя признаки диктатора, воспитателя.

— Помнишь, что я говорил про поэта? Только он умеет подчиняться языку.

— Да! да! да! да! — ссорилась Вера Павловна. — Оппозиция — это шум, беспорядок, бестолковые перемещения абзацев! Ты сто тысяч раз это говорил! Про текст, который сложится в единую книгу. Про свое мнимое единомыслие. Про закон правил, справочников, грамматик.

— Но, миленькая, — шутливо заискивает Опечаткин. — Что ж поделывать-то? Я так создан. Я так вижу вещи. — Он подходит к зеркалу. Обводит в нем абрис Веры Павловны. — Миленькая, даже тебя я вижу как конструкт. Запятые кудряшек. Скобки щечек. Длинное тире улыбки. Двоеточие глаз.

— И ноздрей, что ли? — вздорно, насмешливо говорит она, ухмыляясь, и, хлопнув дверью, уходит.

А что он еще может сказать? Этот вечный укор. Эта вечная необходимость соответствовать. Холодящее присутствие «затылочного» взгляда.

Вера Павловна больше не будет конструктом.

Вера Павловна ушла от Опечаткина.

8

Зато теперь он был опытнее. Едва завидев нечто белесое, слишком пустое и свободное в тексте, он выходил из *опыта*, задержав дыхание, словно нырял в повседневность, где плотность существования фильтровали совсем другие жабры. Он бежал — и многократно — из таких текстов, предпочитая им благонадежное, правильное и скорее технически безликое, как в том далеком ТЗ, полном гармонии и сладкой сказки. Всегда-то-что-надо. Величие наслаждения. Ведь правда же, в наслаждении есть нечто пафосное, ощущение великого...



И было в этом наслаждении чувство генерального плана, который вершится через него, Опечаткина, и через его издательство, и книги, в которых Язык победил Литературу, а Поэзия, выкованная грамматикой, сомкнулась с политикой.

Когда ему сообщили, что готовится разговор с неким «юридическим лицом» о том, чтобы Опечаткину возглавить главное информационное агентство, он даже не усомнился, чьих это рук дело. Он давно на счету, на вооружении, он давно служит «корректорскому принципу»: есть правило и есть ошибка, ошибку он устраняет. Его повышение необходимо самому Великому Корректору. И он долго готовился к разговору в приемной «юридического лица», с еще более преклоненной головой подчинился взгляду в затылок, строил поэтически идеальную строфу, которую надо произнести.

И наконец, когда его пригласили, и он ждал несколько часов за кулисами, а потом короткий жест, чтобы он быстро подошел и стоял в трех метрах от кулис, он так и сделал. И тот человек, закамуфлированный под «юридическое лицо», стоял в полутьме, были видны только его ботинки и края брюк. Он тихо сообщил из темноты — в таком ключе, будто Опечаткину об этом ничего не говорили, то есть повторил все то же самое, что ему излагали много раз. Даже точно такими же рифмами. Но это так и надо было. Это по правилам. Это слова из параграфа. И Николай, перешелкивая слоги, гладко и точно продекламировал то, что от него хотели услышать: ту самую выношенную идеальную строфу. Но он и не кривил душой. Он сказал о том, что знал: о пустоте, о чувстве «белого», о бесцельных блужданиях абзацев, которые есмь только воздух, облака — а засим возможность, но никогда не текст. «Правильно», — мягко говорят ему. Хорошая строфа. Хороший ритм. Безупречная пунктуация. Он в нужном тренде. Он получил эту работу.

Их диалог длился не более пяти минут.

9

Николай Опечаткин — заслуженный корректор, идеальный послужной список, максимальные заслуги перед Языком, обладатель номер один Ордена Великого Корректора. Ни разу не поступившийся «корректорским принципом». Заменявший жизнь долгом. Дольше человеческого века стоявший на службе словарю и грамматикам — гражданской, трудовой, семейной, уголовной. Теперь ему сто двадцать. И он живет в мире запахов и духов

Он пережил мир людей, вся мировая литература, надиктованная на цифровые бобины, по единому щелчку приходит в его слух. Он живет внутри избранных *опытов*, очищенных и проинспектированных. Теперь это не отдельные островки, между которыми лежит немота отсутствия. Это бескрайняя, перекрытая мостами и тихими парами в туманных речных областях, провинция Вселенной, до которой добраться может только он один. Никто больше не одарен такими *опытами*.

Он построил воображаемую библиотеку, куда никто другой не вхож, даже приглашенный. Он мимолетно пробегает залами Ласко, пещерами Лувра, перепархивает по веткам в ватиканских садах, шествует через Адамов мост к своим любимым индонезийским поэтам-диктаторам, восседает в судейской ложе. Он принял новое имя — беззвучное, ненарицаемое. Карта миров устойчива, точно закрепленные сновидения запахов. Он знает все двенадцать сторон света. Помнит безымянные страны и моря. И среди них есть много таких, где остаются целые пустоши свободы, там обитают неопределенные души. И однажды он вступает с ними в разговор. Он говорит: вы — малочисленная секта, ваша ересь — быть пустотой, ибо только так вы исполняетесь; вы должны покинуть мои пределы. А они так сумрачно, так тихо запутывают диалог, что незаметно он попадает в сети их текста, бесконечно рыхлого и свободного и долго следует за их процессией, пока не забывается и становится одним из них. Он идет за ними все дальше и дальше и уже не может возвратиться. Он помнит только, что ему все время хочется оглянуться — туда, откуда тянет холодком. Но куда ни оглядывайся, не найдешь источника взгляда. Они называют это «невидимой Эвридикой»: то, чего не найти. А сами они — «невидимые орфики».

«Я знаю — вы заблудшие души». Он сидит среди них и, посмеиваясь, раскачивается в позе лотоса, пока они чистят кукурузу и пойманную рыбу.

«Вовсе нет, — говорит один. Волосы его завязаны тугим узлом на затылке. Икры ног длинные и похожи на амфоры. В полупещере с высоты вьется светлый водопад. — Но зато ты на самом деле математик и поэт».

«Как же так?»

«А ты им должен был стать. Эвридика. Помнишь? А ты пошел против мира и против себя. От обиды. Но зато освободись сейчас».

Он, раскачиваясь, наблюдает, как орфики готовят на костре еду; во влажном воздухе множатся звуки, водопад сладостно нисходит прядями; надавишь на прозрачный песок — и он матово темнеет.

«Если я оглянусь сейчас, то увижу свою Эвридику?»

Не ответили.

«Кто же моя Эвридика?»

Не ответили.

Он вспомнил прежнее имя — Опечаткин. Не только тот, кто делает опечатки, но и кто сам возник как опечатка. Он встает с матово темнеющего песка, он должен искать, потому что опять в висок подул этот пристальный взгляд.

И с тех пор он ищет. Какая глупая судьба! Опечатка при выборе. Поэт — вольность, белый взмах, непокорность, а не служба; вызов, а не механизм исправления. Этот взгляд — Эвридики, а не Корректора; поэзии, а не диктаторства.

И с тех пор он ищет. В средневековом городе. Собор еще только начинается. Он носит раствор и взбегает по реям лесов и бродит по рейнским лесам. Беседует с мастером. Тот показывает, как рисовать крыло. Обязательно голубиным пером. Он ищет для мастера лучшие из них. Среди леса поляна уходит вниз, в ней дневная, светлая, заросшая пещера, в провале которой, словно этажерка, словно перевернутое отражение в луже, небесная Венеция. Он спрыгивает в пещеру и оказывается на самом верхнем уровне, куда он когда-то так и не смог взойти. Здесь обветренная ветряная мельница. И словно старое, поеденное молью пальто, большой заваленный сарай, с прорехами в стенах, истлевшей матерчатой подкладкой, а на верхушке — пушистая, перемолотая в легкое, порушенное сено опушка воротника.

Он спускается на несколько уровней ниже и мальчиком, взбивая над клеткой площади голубиный осадок, бежит по улицам воздушной Венеции.

«Сколько их было, таких Венеций? В книгах, которые я не признал. Венеция не имеет никакого практического смысла, приходит из ниоткуда, тонет в воде. Остается под водой и отражается вверх, под облака. Это она и есть — запрещенная невидимая Эвридика, которая, наконец, выслеживает и исправляет меня, как мелкую, случайную, беглую опечатку».